

Марк Твен

Из Автобиографии



Из «Записных книжек»



ФТМ

УДК 82/821
ББК 84(2)

Перевод с английского
А. Старцева, Н. Дарузес

Твен, М.

Из Автобиографии. Из «Записных книжек»: Сборник / Марк Твен. Перевод с англ. А. И. Старцева, Н. Л. Дарузес. — Москва: ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021. — 416 с.

ISBN 978-5-521-74776-4

«Я предпочитаю разговаривать после смерти, а не при жизни, по весьма серьезной причине: держа речь из могилы, я могу быть откровенен...» — известнейший американский писатель и журналист Марк Твен (1835-1910) завещал опубликовать свою автобиографию лишь спустя сто лет после его смерти. Сборник «Из "Автобиографии"» — это прощальный, полный тонкой иронии разговор автора с читателем о жизни и судьбе, о мире и обществе, о дружбе и любви, это подлинная история без внутренней и внешней цензуры. Все как хотел автор. В сборник также вошли избранные моменты из дневниковых «Записных книжек» Марка Твена. Его путевые заметки, наброски будущих произведений, житейские наблюдения, приправленные неповторимым юмором писателя, представляют интерес не только для литературоведов, но и для широкого круга читателей.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

© Перевод. А. И. Старцев,
наследники 2021

© Перевод. Н. Л. Дарузес,
наследники 2021

ISBN 978-5-521-74776-4

© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ



Предисловие

[Из могилы]¹



Когда я пишу эту «Автобиографию», я ни на минуту не забываю, что держу речь из могилы. Это в самом деле так: меня не будет в живых, когда книга выйдет в свет.

Я предпочитаю разговаривать после смерти, а не при жизни, по весьма серьезной причине: держа речь из могилы, я могу быть откровенен. Когда человек берется за книгу, в которой намерен рассказать о личной стороне своей жизни, одна лишь мысль, что эту книгу будут читать, пока он живет на земле, замкнет ему уста и помешает быть искренним и до конца откровенным. Никакие усилия ему не помогут, он вынужден будет признать, что поставил перед собой непосильную задачу. Самое искреннее, и самое свободное, и самое личное произведение человеческого ума и сердца — это любовное письмо: пишущий уверен, что никто посторонний никогда не увидит его письма, и это дает ему безграничную смелость в признании и в выражении своих чувств. Порою случается так, что обманутая девушка



¹ Заголовки по большей части не принадлежат Твену и заключены в квадратные скобки.

обращается в суд, и тогда письма становятся достоянием гласности. Когда автор любовного признания видит свое письмо в печати, он испытывает невыносимое чувство неловкости. Он понимает, что никогда и ни за что не раскрыл бы так своего сердца, если бы думал, что пишет для посторонних. В письме нет ничего, что его позорило бы, ни единого слова, которое можно было бы счесть неискренним или лживым, но все равно — он никогда не позволил бы себе такую откровенность, если бы знал, что письмо попадет в печать.

Мне показалось, что я тоже смогу писать свободно, откровенно и без внутренних преград — так, как пишут любовное письмо, — если буду уверен, что никто чужой не увидит того, что я написал, до той поры, пока я не лягу в могилу, бесчувственный и равнодушный.

Марк Твен

[Джейн Лэмптон Клеменс]



Это была моя мать. Когда она умерла в октябре 1890 года, ей было почти восемьдесят восемь лет, — возраст преклонный, и какая стойкость в борьбе за жизнь для женщины, которая в сорок лет была такого хрупкого здоровья, что ее считали безнадежно больной и приговорили к смерти. Я хорошо ее знал в первые двадцать пять лет моей жизни; впоследствии я виделся с ней редко, мы жили далеко друг от друга. Я не собираюсь о ней писать, хочу просто поговорить о ней — дать не официальную историю, а только отрывочные картины из этой истории; если можно так сказать, изобразить в моментальных снимках ее характер, а не весь ее жизненный путь. Собственно говоря, ничего замечательного в ее жизни не было, но человек она была очаровательный, прекрасный и внушающий любовь.

Куда исчезает то множество человеческих фотографий, которые должны бы запечатлеться у нас в сознании? Из целого миллиона фотографий этого первого и самого близкого друга, которые с юных лет должны были запечатлеться в моей памяти, осталось только одна, ясная и четкая. С тех пор прошло сорок семь лет; ей было тогда сорок лет, а мне восемь. Она держит меня за руку, и мы стоим на коленях у постели умершего брата, который был двумя годами старше меня, и слезы катятся без



удержу по ее щекам. Она стонет. Это немое свидетельство горя, вероятно, было ново для меня, потому что оно произвело на меня сильное впечатление — впечатление, благодаря которому эта картина и до сих пор не потеряла силы и живет в моей памяти.

У нее было хрупкое маленькое тело, но большое сердце, — такое большое, что и чужое горе, и чужие радости находили в нем и отклик и приют. Величайшее различие между нею и другими людьми, которых я знал, заключалось, по-моему, вот в чем, и оно знаменательно: другие чувствуют живой интерес к очень немногому, а она до самого дня своей смерти живо интересовалась всем миром, всем и всеми в мире. Во всю свою жизнь она не умела интересоваться наполовину чем-нибудь или кем-нибудь, не умела ограничивать себя и оставаться равнодушной к какому-нибудь делу или к каким-нибудь людям. Больная, которая напряженно и неизменно интересуется всем и всеми, кроме себя самой, которая не знает, что такое скучная минута, — такая больная серьезный противник болезни, и ее нелегко одолеть. Я уверен, что именно эта черта характера моей матери помогла ей дожить почти до девяноста лет.

Ее интерес к людям и животным был теплый, сердечный, дружеский. В самых безнадежных случаях она всегда находила в них что-нибудь такое, что можно было оправдать и полюбить, даже если она сама наделила их этим. Она была естественным союзником и другом всех одиноких. О ней говорили, что она, благочестивая пресвитерианка, может попасться на удочку и замолвить доброе словечко за самого Сатану. И такой опыт был проделан. Начали поносить Сатану, заговорщики один за другим язвительно упрекали, беспощадно бранили его, жестоко обличали, — и наконец доверчивая жертва заговора попала в западню. Она согласилась, что обвинение справедливо, что Сатана действительно погряз в пороках, как они говорили; но разве к нему отнеслись справедливо? Грешник есть грешник, и больше

ничего; и Сатана такой же грешник, как все другие. Почему же все другие спаслись? Неужели только собственными усилиями? Нет, таким образом никто не мог бы спастись. К их слабым усилиям присоединились горячие, взывающие о милости молитвы, которые возносятся ежедневно из всех церквей в христианском мире и из всех сострадательных сердец. А кто молится за Сатану? Кто за тысячу восемьсот лет просто, по человечеству, помолился за того из грешников, которому было больше всего потребно, — за нашего собрата, который больше всех нуждается в друге и не имеет ни единого, за того из грешников, который имеет явное и неопровержимое право, чтоб за него молились денно и нощно, по той простой и неоспоримой причине, что он нуждается в этом больше других, как величайший из грешников?

Этот друг Сатаны был кроток духом; незаученным, бессознательным пафосом речи она обладала от природы. Когда при ней обижали или позорили беззащитного человека или животное, в ней пробуждалась жалость или негодование, и тогда не было оратора красноречивей. Очень редко это красноречие было пламенным и грозным, чаще — кротким, сострадательным, трогательным и проникновенным, и таким неподдельным и выражавшимся так благородно и просто, что я много раз видел, как оно вознаграждалось невольными слезами. Когда кого-нибудь обижали, будь то человек или животное, боязливость, естественная для ее пола и хрупкого сложения, исчезала, и на первый план выступало мужество. Как-то я видел на улице дьявольски норовистого корсиканца, грозу всего города, который на глазах у благоразумно сторонившихся горожан гонялся за своей взрослой дочерью с толстой веревкой и грозился измочалить о нее эту самую веревку. Мать моя распахнула дверь перед беглянкой и стала на пороге, раскинув руки и загородив собой дверь, вместо того чтоб захлопнуть и запереть ее. Корсиканец



бранился, чертыхался, грозил ей веревкой, но она не дрогнула и ничем не проявила страха; она стояла прямо и гордо и поносила его, стыдила, высмеивала, бросала ему вызов тихим голосом, неслышным на улице, но пробудившим в нем совесть и дремавшее человеческое достоинство; он попросил прощения, отдал ей веревку и поклялся самой богохульной клятвой, что не видывал женщины храбрее, потом молча ушел своей дорогой и больше ее не беспокоил. После этого они стали друзьями, потому что в ней он нашел то, в чем давно нуждался: человека, который его не боится.

Как-то на улице в Сент-Луисе она удивила дюжего возчика, который избивал свою лошадь тяжелым кнутовищем: она отняла у него кнут и так убедительно говорила в защиту провинившейся лошади, что он сам сознался в своей вине и даже дал обещание, которого не мог бы сдержать (не такая у него была натура): обещание, что он никогда не будет дурно обращаться с лошадьми.

Такое заступничество за обиженных животных было для нее самым обыкновенным делом; и, должно быть, она умела показать свои добрые намерения, никого не обидев, потому что всегда добивалась своего, нередко заслуживая одобрение и похвалу противника, не говоря уж об уважении. Все бессловесные твари находили в ней друга. По какому-то неуловимому признаку каждый бездомный, загнанный, грязный, беспутный кот сразу узнавал в ней свою покровительницу и защитницу и шел за ней до самого дома. Инстинкт его не обманывал, его принимали с распростертыми объятиями, как блудного сына. Одно время, в 1845 году, у нас было девятнадцать кошек. И все они были ничем не замечательны, никаких заслуг у них не было, кроме того, что они были несчастны, а это заслуга небольшая и очень дешевая. Для всех нас, не исключая матери, они были обузой, но им не повезло — и этого было достаточно: они оставались у нас. И все-таки лучше иметь таких любимцев в доме, чем никаких;

детям нужны любимцы, а держать животных в клетках нам не позволяли. О пленниках и речи быть не могло: мать моя не позволила бы лишить свободы даже крысу.

В маленьком городке Ганнибале, в штате Миссури, где я жил мальчиком, все были бедны и не сознавали этого, и всем жилось неплохо, но это как раз понимали все. Общество там делилось на ступени: люди из хороших семей, люди из семей попроще, люди из совсем простых семей. Все знали друг друга и были друг с другом любезны, и никто не важничал слишком заметно; однако грань классового различия была проведена весьма четко, и общественная жизнь каждого класса замыкалась в его рамках. Это была маленькая демократия, где исповедовали свободу, равенство и Четвертое июля — и совершенно искренне. Однако аристократический душок был очень заметен; он был, и никто не видел в этом дурного и не задумывался над тем, что тут есть какая-то непоследовательность.

Я думаю, что такое положение вещей следует приписать тому обстоятельству, что население городка пришло из рабовладельческих штатов и сохранило институт рабства и на новой родине. Мать моя с ее широкой натурой и либеральными взглядами не годилась в аристократки, хотя была ею по воспитанию. Быть может, немногие это знали, потому что тут действовал скорее инстинкт, чем принцип. Внешне это выражалось случайно, а не намеренно, и довольно редко. Но мне было известно ее слабое место. Я знал, что в душе она гордится тем, что Лэмптоны — теперь графы Дэрэм — владели родовыми поместьями в течение девятисот лет, что они были хозяевами Лэмптон-Кастля и занимали высокое положение еще в то время, когда Вильгельм Завоеватель переплыл море, чтобы покорить англичан. Я спорил осмотрительно и со смягчающими оговорками, потому что приходилось быть осторожным, вступая на эту священную почву, говорил, что нет никакой заслуги в том, чтобы просидеть на од-